

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИЧЕНКО • МАРИНА МНИШЕК

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

ТОНКИЕ МЕСТА

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ • ЧАСТЬ II



— 2026 —

Дмитрий Колесниченко

**Непростые дети. Каменные
стены II. Тонкие места**

«Автор»

2026

Колесниченко Д.

Непростые дети. Каменные стены II. Тонкие места /
Д. Колесниченко — «Автор», 2026

Второй год в Эдинбурге: шотландский дождь стал привычным, а дар сестёр Голубевых окончательно перерос учебную программу кафедры парапсихологии. Старшая видит места, в которых никогда не была, и учится выходить из чужого прошлого без посторонней помощи. Младшая различает уже не просто мысли, а их температуру – и впервые встречает человека, рядом с которым в голове наступает тишина и не хочется держать щиты. Но за стенами аудиторий ждут «тонкие места» Шотландии, где мир протёрся до основы, загадочные ответы из Сети и пугающая догадка: когда защита снята, услышать можно не только живых.

Содержание

Непростые дети. Каменные стены II. Тонкие места	5
Пролог	6
Глава 1. Это не ловушка	15
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Дмитрий Колесниченко

Непростые дети. Каменные стены II. Тонкие места

Непростые дети. Каменные стены II. Тонкие места

Второй год в Эдинбурге начинается там, где заканчиваются учебники: дар сестёр Голубевых перерос кафедральную программу. Старшая сквозь километры видит места, в которых никогда не была, и раз за разом возвращается к рисунку чёрного замка над обрывом, который уже ждёт её осенью. Младшая различает уже не просто чужие мысли, а их температуру: большинство людей невыносимо шумит, но один-единственный человек звучит в мыслях так, будтоходишь с мороза в тёплую комнату с камином, – и рядом с ним впервые в жизни не хочется закрываться.

Однако чем тоньше защита, тем слышнее сама земля. Шотландцы называют особые точки на карте «thin places» – «тонкие места», где мир протёрся до основы и сам начинает читать открытого человека. В мрачном ущелье Гленко, где триста лет назад убивали не чужих, а своих, младшая слышит под слоями старого ужаса что-то тихое, древнее и очень внимательное. Оно не пугает – оно терпеливо предлагает: *дотянешься – узнаешь*.

Случайностей вокруг остаётся всё меньше: отец молча заполняет пятую зелёную тетрадь, выцветший стикер «Мы обычная семья» по-прежнему держит оборону на кухне, а на другом конце континента незнакомка из ЖЖ-блога публикует ответ на вопрос, который сёстры задали вслух только вчера за закрытой дверью. Слово в слово.

В Гленко они успели закрыться. Обе. Но невыплаченный страх копится на счету с процентами, а снятые щиты однажды открывают ледяную правду: теперь ты готова слышать не только живых. Успеют ли они остановиться в следующий раз – когда собственная глубина станет интереснее осторожности?

© Дмитрий Колесниченко, Марина Мнишек, 2026

Пролог

«Соответствие не означает копию. Это означает: то, что внутри – отражается снаружи. Без исключений» – Маржсена Горбова

Второй год в Эдинбурге начался с узнавания, тихого и почти незаметного, как привыкание к чужому акценту, который однажды перестаёшь замечать. Никто не смог бы назвать день, когда это произошло: узнавание не рождается в один миг, оно созревает тихими каплями, день за днём. Но когда самолёт нырнул под облака и в разрывах серой ваты блеснула вода залива Форт, за которой потянулись мокрые крыши, зелёные лоскуты полей и тёмный камень, много тёмного камня, все четверо, не сговариваясь, коротким наклоном головы подались к иллюминаторам, словно смотрели из окна электрички на свою станцию.

Под крылом развернулись мосты через Форт, единение красного железа и серого бетона. Тая, прижав костяшки к холодному пластику рамы, беззвучно шевельнула губами, будто пересчитывала пролёты. Таня скосила глаза на сестру и промолчала. Год назад они смотрели в это же стекло с одинаковым выражением людей, которых привезли в незнакомое место: вот здесь я буду жить, посмотрим, что тут делают с такими, как я. Теперь Тая считала пролёты, как считают ступеньки в собственном подъезде, и от этого у Тани перехватило дыхание от странной, щемящей радости, будто она подсмотрела что-то не предназначенное для чужих глаз.

Самолёт клюнул, шасси мягко коснулось полосы, кто-то в хвосте захлопал.

– Аплодируют, – сообщила Таня. – Значит, до последнего не были уверены в мягкой посадке.

Дима, не открывая глаз, приподнял бровь, поддерживая сказанное.

Шёл дождь. Разумеется, шёл дождь: мелкий, косой, шотландский. Когда-то он казался испытанием характера, недоразумением, которое вот-вот кончится, – но дождь не кончался, и пришлось научиться жить в его сырости, как привыкают к звучанию чужого языка; выучились – и он стал просто погодой. Таня, спускаясь по трапу, подняла лицо навстречу измороси и глубоко вдохнула: мокрый бетон, керосин и тонкий запах моря. Влага садилась на щёки холодной пылью, слишком мелкой, чтобы собраться в каплю, от неё стягивало кожу и хотелось зажмуриться, несмотря на это Таня поймала себя на том, что она улыбается этому запаху, как улыбаются доброму знакомому при встрече.

Год назад на этом трапе у неё сводило шею от напряжения, она держала спину прямо только следуя за идущей впереди мамой. Мама снова шла впереди точно так же, натягивая на голову капюшон и постоянно проверяя через плечо, не отстал ли кто, – и Таня подумала, что некоторые вещи не меняются никогда.

В здании аэропорта её накрыло многоголосьем: сотни голов, сотни мыслей про багаж, такси, опоздания, – и она привычно подобралась, готовясь сдерживать этот гул. Но гул оказался тише московского раза в три, и мысли в нём текли размеренно-вежливые даже в раздражении, на английский манер, и Таня с некоторым недоумением обнаружила, что за лето успела соскучиться по этому звучанию. Московский гул был родным и оглушительным, как коммунальная кухня; здешний же напоминал читальный зал, где сосед, конечно, шуршит, но шуршит культурно. Где-то у стойки прокатных машин мужчина беззвучно, но с большим чувством перебирал в голове всё, что думает о своей страховке, и делал это так вежливо, что Таня чуть не рассмеялась вслух: даже ругаться здесь умели через по-английски вежливо.

Она шла за тележкой с чемоданами, никого не держа снаружи, ничего не запирая внутри, и думала о прошлогоднем сентябре, когда на этом самом месте у неё звенело в висках от усилия казаться обычной. Тогда, она помнила это телом, приходилось считать плитки на полу, чтобы не слышать, а каждый шаг отдавался в затылке; сейчас в голове было вполне тихо, и Таня осторожно, буквально на ощупь проверила эту тишину: не показалось ли? Нет, не показалось.

Секретов вокруг не было, это стало понятно сразу: секреты звучат громче всего, потому что о них очень громко думают. Её защиту здесь можно было держать вполсилы, а иногда не держать вовсе, именно это оказалось проблемой больше самого гула, потому что она пока не знала как жить без страха и защиты.

Лето в Москве было жарким, шумным и странным. Странность обнаружилась не сразу: сначала всё шло как положено, а потом, недели через две, Таня, рассказывая старой подруге про учёбу, сказала «а у нас дома сейчас дождь» и осеклась, потому что подруга спросила «где дома?», хотя ответ прозвучал раньше вопроса. Он прозвучал в голове подруги раньше, чем в её собственной, спокойным и слегка обиженным голосом: *значит, уже не здесь*. Таня тогда засмеялась, перевела разговор на погоду, а вечером долго лежала и рассматривала трещину на потолке комнаты, где прожила школьные годы. Вроде и трещина была родная, и потолок был родной, и всё равно ничего не отзывалось нотками ностальгии. С этой оговорки лето покати-лось под уклон, к сентябрю, а последние московские дни вся семья прожила в особом чемо-данном нетерпении, которое стыдно называть вслух, когда живёшь в родном городе.

Катя составляла в голове список: в четверг фермерская лавка, там настоящий творог, рассыпчатый, который она искала по всему Эдинбургу полгода и нашла в пяти минутах от дома, – если приехать к открытию достанется свежий. Теперь она знала такие мелочи об этом городе, какие знают только местные: где нитки, в какой аптеке провизор не переспрашивает, в каком банке очередь короче по вторникам. Знание это добывалось по крупицам, ошибка за ошибкой, и она помнила каждую: как объясняла жестами, что ей нужна тёрка, как принесла домой вместо сметаны нечто сладкое... Теперь ей ни в одном из этих мест не надо было ничего объяснять, трудно было даже себе признаться, до какой степени она этим гордится.

Дима знал другое: он знал нотариуса, который не задаёт глупых вопросов, знал, чем шот-ландский контракт отличается от английского не по профильным книгам, а по трём собствен-ным шишкам, и знал, в каком пабе возле суда можно за сорок минут узнать больше, чем за неделю официальной переписки.

У багажной ленты они стояли вчетвером, плечом к плечу, глядя на резиновый занавес, из-за которого пока ничего не появлялось. Катя стояла, сунув руки в карманы плаща, – она ещё помнила, как в первый прилёт обеими руками сжимала на этом месте ремешок сумки, проверяя, не сдвинулась ли лента не в ту сторону, – и рассуждала вслух о том, что серый чемодан выйдет первым, потому что его сдавали последним.

– Он выйдет последним, – сказала Таня. – Потому что он серый и его никто не любит.

– Логистике чужда любовь, – хмыкнула Катя.

– Любовь никому не чужда, мам. Даже логистике. – возразила Таня.

Тая, не отрывая глаз от ленты, чуть повела плечом, и это у неё означало «спорить не о чем».

– Ставьте на маму. Она не угадывает, она запоминает.

– Вот это в ней и пугает, – сказала Таня. – Я хотя бы честно ничего не знаю: чемоданы молчат. Ни одной мысли за всю жизнь, я проверяла.

Лента дёрнулась, поехала, и первым из-за занавеса выполз именно серый чемодан.

– Ну вот, – Катя развела руками, как фокусник, у которого впервые в жизни всё получи-лось. – А вы меня убеждали, что я не ясновидящая.

– Ты не ясновидящая, – подтвердил Дима, снимая чемодан с ленты. – Ты организованная. Известно что страшнее.

Таня фыркнула, Тая коротко улыбнулась в воротник, и ни одна из них не стала говорить вслух то, что подумали обе: мама единственная в этой семье, кому такие фокусы даются бес-платно.

Дима снимал чемоданы один за другим и ставил их у тележки колёсами в одну сторону, ровно, как машины на парковке. Лента везла оставшееся по-здешнему неторопливо, и никто не поглядывал на часы.

– Смотри, – сказала Таня сестре вполголоса, кивнув на чемоданный строй. – Год назад он бы их пересчитал. А теперь просто паркует.

Тая посмотрела на отца, на чемоданы, на красную бирку, свисавшую с серого, и ничего не ответила: торопиться было некуда, они уже приехали.

* * *

Машина ждала на дальней стоянке, где простояла два месяца, но завелась со второго раза, недовольно, как разбуженный кот. Внутри пахло остывшим пластиком, пылью и слабо прошлогодней мятной конфетой, забытой в бардачке; на лобовом стекле с внутренней стороны осёл тонкий налёт, Дима протёр его тыльной стороной руки, оставив мутную дугу.

– Она обиделась, – сообщила Таня, заталкивая сумку на заднее сиденье. – Два месяца простояла одна на стоянке, под дождём, и ни разу никто не пришёл. Я бы тоже с первого раза не завелась.

– Такова её незавидная судьба, хотя я думаю, что она просто отсырела, – сказал Дима.

– Пап, считай это одно и то же.

Катя усмехнулась, заняла своё штурманское место и по привычке поправила зеркало, в которое никогда не смотрела, девочки устроились сзади среди чемоданов, не поместившихся в багажник, и дом поехал им навстречу – сначала развязками, потом шоссе, потом всё более узкими и всё более знакомыми дорогами, окружёнными мокрым боярышником.

Тая сидела у окна и молчала. За стеклом тянулись серые камни: ограды, стены, дома, снова ограды, – тёмные от дождя, ровные, сложенные заботливыми руками, она смотрела на них спокойно, отмечая: вот это она уже видела, и это, и вон ту покосившуюся калитку тоже. Год назад это был чужой берег. Она в точности помнила телом те ощущения: холодок между лопатками и настороженность, с которой смотришь на чужое, примеряясь, что тебе здесь разрешено. Теперь берег был почти свой, как куртка, которая поначалу жала в плечах, а потом села по фигуре: удобная, привычная, тёплая. Камни за окном не изменились, камням год не срок. Изменилось что-то по эту сторону стекла, подумала Тая, внутри, а снаружи только отразилось, – и мысль эта была проста и уютна, как нагретое сиденье, она не стала додумывать её до конца, потому что конец у неё был длинный, на несколько лет вперёд.

Она приложила два пальца к стеклу, к самому холодному его месту, держала, пока не заныли подушечки. Так она делала с детства, чтобы проверить, здесь ли она; так она проверяла себя и в прошлом сентябре на этой дороге, только тогда пальцы дрожали, и она их прятала. Сейчас они не дрожали, и это было настолько буднично, что даже не радовало.

В рюкзаке под ногами лежал синий блокнот. Тая не открывала его всё лето: он проехал с ней Москву, пролежал два месяца под свитерами в шкафу московской квартиры, но она ни разу к нему не притронулась, строчка про тёмный замок над морем, написанная тем дрожащим апрельским почерком, в котором буквы заваливались вправо, никуда не делась и ждёт. Однажды в июле, в самую жару, она подошла к шкафу и взялась за дверцу, простояла полминуты, слушая как во дворе кто-то стучит мячом об асфальт, в груди появилось знакомое чувство: если открыть, придётся смотреть, а если смотреть, придётся понять. Она не открыла. Отошла, налила себе воды из-под крана, тёплой и невкусной, а потом весь день была особенно весёлой, так что Таня к вечеру поинтересовалась, всё ли в порядке, на что получила сухое «всё» таким голосом, что переспрашивать не стала.

Строчка ждала терпеливо, как умеют ждать камни, Тая ответила ей тем же: пока не время. Она чуть подвинула рюкзак ногой, устраиваясь удобнее, почувствовала через ткань твёрдое ребро обложки, после чего вернулась к окну.

– Умираю, – объявила Таня, обращаясь ко всем. – Официально довожу до сведения экипажа: то, что нам выдали в самолёте, было не едой, а извинением за её отсутствие. Маленьким таким извинением в фольге. Я безусловно верю в переселение душ, но переезды – это лишнее.

– Потерпишь, – сказала Катя, не оборачиваясь. – Сорок минут до дома.

– Мам, сорок минут – это в моём возрасте целая эпоха. За сорок минут люди успевают жениться и найти повод для развода.

Катя открыла рот, помолчала секунду, глядя на дворники, и произнесла ровно, отчётливо, как зачитывают приговор:

– Еду в дорогу не дам. Вы уже взрослые.

Секунду в машине было тихо, а потом засмеялись все, даже Дима, у которого смех проходил на уровне глаз и одного уголка рта. Смеялись не над словами: слова были прошлогодние, апрельские, с тех самых оркнейских сборов, когда Катя паковала бутерброды с подписями и печенье в количестве, наводившем на мысли о зимовке, а дочери взывали к её разуму доводами о том, что на островах живут люди. С тех пор фраза отвязалась от смысла и зажила своей жизнью: её говорили в обе стороны, по любому поводу и без, и она незаметно стала семейным ритуалом, одним из тех паролей, по которым семья узнаёт себя, как «шапки не забудьте», как «это просто лампочка», как щель на ширину шёпота. Катя поймала в зеркале, в которое никогда не смотрела, димин взгляд – и оба отвели глаза, как заговорщики.

Тая смеялась и слышала, как смеются остальные, и в этом коротком общем смехе было столько тепла, что к ушам подступил жар, Тая отвернулась к окну – стекло приятно холодило лоб – чтобы никто не увидел лица.

– Между прочим, – сказала Таня, отсмеявшись и вытирая уголок глаза, – я почти уверена, что где-то в этой машине есть яблоки. Материнская любовь не летает налегке.

– В синей сумке, – сдалась Катя. – Сверху. И сестре дай.

– Взрослым же не дают, – напомнила Таня.

– Взрослым не дают еду в дорогу, – сказала Катя. – Яблоки – это витаминки.

– Пап, зафиксируй, – попросила Таня, зашуршав сумкой. – Это называется двойное толкование.

– Толкование всегда в пользу того, у кого еда, – отозвался Дима, не отрывая глаз от дороги. – Так везде, не только у нас.

Тая взяла тёплое от лежания в сумке московское яблоко, чуть помятое с одного бока, и, надкусив, неожиданно вспомнила их отъезд в Москву, последнее утро перед такси. Таня тогда, проходя через кухню с зарядкой в зубах, остановилась над раковиной у окна, посмотрела на стикер – жёлтый квадратик выцвел за год до цвета топлёного молока, синие буквы «Мы обычная семья» побледнели, как бледнеет старая татуировка, – и предложила: давай напишу новый, у меня и стикеры есть, и почерк лучше. Катя, не отрываясь от сумки, не подняв даже головы, ответила: «Не трогай. Выцвел – значит, прижился».

Этот короткий разговор на три секунды Тая запомнила дословно, потому что в этих словах матери было больше про их жизнь здесь, чем в любой курсовой. Новые стикеры пишут те, кто ещё доказывает. Этот уже доказал, сейчас висел на своём почётном месте, отслужив маской и оставшись флагом, и ждал их в пустом доме – блёклый, упрямый, с загнутым углом, – но снимать его Катя не собиралась. Тая доела яблоко до самой середины, до горьковатых семечек, и подумала, что мама, которая полгода искала творог и год не снимает бумажку с окна, – и есть тот раствор, на котором в их семье сложены камни. Сказать это вслух было невозможно, поэтому промолчала.

Таня, сидевшая рядом, повернула голову и посмотрела на сестру дольше, чем требуется для взгляда.

– Ты сегодня тихая даже по моим меркам, – сказала она негромко, чтобы не услышали родители.

Тая подержала огрызок в ладони, открыла рот, и в этот момент увидела всё сразу: как придётся сказать про блокнот, про строчку, про шкаф в июле и размышления у дверцы, как Таня не переспросит, но будет знать, как это знание доедет с ними до дома, войдёт в красную дверь и сядет за стол на первый же ужин. Первый вечер в году. Мама с чайником, отец с чемоданами, дождь по крыше.

– Сплю, – сказала Тая. – С пяти утра на ногах.

Это было правдой, только не всей, и они обе это услышали. Таня чуть повела плечом, повернулась к своему окну и не стала больше лезть с расспросами: они давно выучили, где у другой закрытая дверь, и научились не проверять ручкой замок. В тесном пространстве между их плечами встала эта недоговоренность. Тая сидела с огрызком в кулаке. Вот так, значит, взрослеют: раньше они говорили друг другу всё, а теперь у каждой появилось по одному ящику, который не выдвигается.

За окном мелькнул указатель с знакомым названием, и дождь, словно сверившись с ним, стал мельче.

* * *



Дима вёл машину молча, Катя наблюдала за ним с удовольствием, в котором сама себе не признавалась. Молчание было не усталое: он рассматривал повороты внимательно, словно сверялся с картой, и, судя по спокойным рукам на руле, маршрут был верным.

Лето у него вышло рабочим, хотя работал он вроде бы из московской квартиры, с ноутбука. Катя слышала эти звонки сквозь дверь: ровный голос, английские фамилии вперемешку с русскими, слова «Эдинбург», «Глазго», «в сентябре, когда вернусь». В этом году он взял шотландских клиентов, бывших россиян, осевших здесь кто десять, кто пятнадцать лет назад, с их наследственными проблемами на две страны, разъехавшимися семьями и договорами, написанными на двух языках так, что не работал ни один. Сарафанное радио русской диаспоры оказалось исправнее любой рекламы: человек, который понимает и российские и местные законы, саму природу вещей, да ещё и не удивляется ничему, – таких передавали из рук в руки, как хорошего врача. Практика расширилась тихо, и однажды летом Катя, разбирая почту, поймала себя на том, что счета за его новый офис воспринимает как само собой разумеющееся. В первый раз она даже недолго посидела с конвертом в руках, соображая, когда именно это стало нормальным, но не вспомнила конкретного дня: как и всё важное у них в семье, это случилось без объявления.

Она смотрела в окно на мокрые крыши Карри, надвигавшиеся из-за холма, – серые, блестящие, со знакомой колокольной в дальнем конце, – и вопрос поднялся откуда-то из глубины, отлежавший своё за целый год; пальцы сами собой разгладили ремень сумки на коленях. Она даже успела подумать, что спрашивать не надо, что есть вещи, которые лучше не произносить вслух. И спросила:

– Значит, остаёмся?

Она услышала свой голос со стороны и не узнала его: он вышел не деловой, как она рассчитывала, а тихий, почти беспомощно детский. Дворники дважды прошли туда и обратно, и в эти два взмаха уместилось всё, что она не сказала за год: два чемодана в прихожей, чужой язык в трубке, вечер, когда она сидела на полу перед стиральной машиной и не могла разобрать инструкцию, и как потом сказала «всё нормально», и как сама себе не поверила.

– Давно остались, – ответил Дима, не оборачиваясь.

И всё. Простая констатация факта, как показание термометра: за окном двадцать градусов, мы давно остались, поворот на Балерно-роуд через триста метров. Катя не стала переспрашивать. За прошедшие годы она выучила Димину манеру сообщать самое важное между делом, вполголоса, и знала: ответ дан полностью, исчерпывающий, в двух словах. По-настоящему близкому человеку объяснять не надо, а если надо – значит уже поздно.

Дима как всегда знал это раньше остальных, и как обычно ждал, когда спросят. Она посмотрела на его профиль, на седину у виска, которой в прошлом сентябре было меньше, её кольнуло чем-то нежным и злым сразу: он носил это в себе весь год. Всё это время, пока она мерила их жизнь месяцами и сроками, пока рассчитывала, дотянут ли до лета, он уже жил, а она ждала. И не сказал – если поторопиться, человек начнёт спорить. Нужно, чтобы он дошёл до всего сам. Тогда это станет его собственной правдой, в которой не будет места для сомнений.

– Ты мог бы предупредить, – сказала она.

– Предупредил, – отозвался Дима. – Только что.

Катя коротко фыркнула, отвернулась к окну и позволила себе улыбнуться так, чтобы он не видел, – прикрыла ладонью щеку, потому что он видит и без помощи глаз.

Машина свернула на их улочку, их дом показался в её конце: серый, каменный, приземистый, с дверью, слишком красной для этого камня. За два месяца без них он ничем не изменился, разве что трава у забора вымахала по-летнему вольно, да куст шиповника у красной двери, отцветший, стоял весь в ягодах – твёрдых, оранжевых, ещё не набравших осенней красноты. В первый их вечер здесь этот куст был просто мокрым кустом чужого дома, декорацией к чужой жизни, в которую им предстояло как-то втиснуться; Катя тогда зацепилась за него рукавом и подумала со злостью, что даже растения здесь колючие.

Сейчас она смотрела на него сквозь мокрое стекло, пока Дима сдавал к воротам: на лаковые листья, на ягоды, на каплю, висящую на нижней ветке и не решающуюся упасть. Капля дрожала, вытягивалась, набиралась, и Катя следила за ней, не дыша, зачем-то очень желая, чтобы та удержалась. Капля сорвалась. И в этот момент внутри у Кати тихо щёлкнуло, как замок, вставший на место, – без торжественности, без слёз, вообще без единого лишнего движения: щёлкнуло и закрылось, и то, что год держалось на честном слове, на упрямстве и на выцветшем стикере, встало в пазы и надёжно зафиксировалось.

Она сидела в остывающей машине, в пахнувшей пылью и мятной конфетой тесноте, среди сумок и мокрых курток, и понимала, что вот прямо сейчас, на этих трёх метрах гравия перед собственными воротами, кончилось что-то очень важное. Не путешествие и не эксперимент – кончилось её внутреннее ожидание, никому не показанное «а вдруг всё это на время». Она год носила его в себе, как обратный билет, вынимала по вечерам, чтобы проверить, что он есть; иногда только билет и держал её на ногах. А теперь и билета не было, и ноги стояли. Впервые Эдинбург перестал быть временным.

В горле встал ком, и Катя, чтобы не дать ему подняться выше, сделала то, что делала всегда: перевела дыхание и занялась делом. Первым её движением будет поставить чайник. Дом два месяца стоял пустой, в нём холодно, надо сразу чайник и проверить, не отсырело ли бельё в шкафу. Она повторила этот список в голове дважды, и ком в горле исчез.

– Приехали, – сказал Дима и заглушил двигатель.

Он сказал это в никуда, Катя услышала, но не ответила, потому что отвечать было нечего.

Дождь стучал по крыше машины ровно и по-домашнему. Сзади завозились девочки, выпутываясь из сумок; Таня объявила, что первой претендует на ванну и на всё горячее в этом доме, включая чайник, полотенца и отцовское кресло, Тая ответила негромко, и судя по фырканью Тани, смешно. Катя вышла под дождь, не раскрывая зонта: двадцать шагов до собственной двери можно пройти и так. Гравий хрустел под подошвами знакомо, влага сразу села на плечи, пахло мокрой землёй и перестоявшей, уже осенней травой. Пока Дима открывал багажник, а дочери вслух распределяли, кому нести самое тяжёлое, она поднялась на крыльцо, повернула ключ и толкнула красную дверь.

Дом встретил её прохладой, тишиной и родным, застоявшимся запахом – дерева, старой бумаги и корицы. В прихожей было темно, на коврике аккуратной стопкой лежала почта. Катя не разуная прошла на кухню. Здесь царил тот особый, звенящий холод, который бывает только в пустых квартирах. На подоконнике буйствовала герань. Соседка явно перевыполнила план: за время разлуки цветок разросся вдвое и теперь по-хозяйски занимал всё окно. Катя улыбнулась: «Надо испечь её пирог. Эту герань поливали явно не водой, а любовью». За геранью, на своём месте висел стикер: выцветший до цвета топлёного молока, с загнутым углом, непобедимый.

Катя смотрела на стикер дольше, чем нужно. Год назад она прижимала его к стеклу испачканной в муке ладонью и мысленно считала до десяти: старая бумага упрямо отклеивалась. В тот вечер этот крошечный листок был единственной вещью в доме, принадлежавшей ей целиком. Теперь она чувствовала себя хозяйкой всего этого пространства. А бумажный клочок наконец держался сам – без её отчаянных усилий.

– Ну здравствуй, – сказала ему Катя и пошла ставить чайник.

Из двухмесячного плена чайника Катя вылила застоявшуюся воду. Набрала свежей, привычно щёлкнула кнопкой. В тишине кухни поднялся тот знакомый, нарастающий шелест закипающей воды, с которого в их семье всегда начинается всё. И дом тут же отозвался, оживая. За окном зашумел дождь. В прихожей с глухим стуком повалился чемодан. Таня с порога громко объявила, что ванная занята отныне и до Рождества, а Тая уже отчитывала её, напоминая про право старшинства. Кто-то щёлкнул выключателем, и по тёмному коридору весело побежала полоса тёплого жёлтого света.

Катя стояла у гудящего чайника, слушала свой дом и не торопилась доставать чашки.

* * *

К девяти вечера дом перестал быть нежилым. Наверху шумела вода, хлопали дверцы шкафов, по лестнице протопали босиком, а Катя сидела в прихожей на полу между двумя раскрытыми чемоданами и вынимала оттуда лето. Свитера, пропахшие московским шкафом, полотенца, книги. Свёртки, замотанные в газету так добросовестно, будто их везли не в Шотландию, а на край света.

Она раскладывала вещи, и стопки собирались сами собой: полотенца – во второй ящик слева, потому что первый заедает; книги – на нижнюю полку, над верхней батареей; шерстяное – в коридор, в спальне с северной стороны сыро. От того, как привычно укладывались вещи, сделалось пусто под ложечкой. Они больше не были багажом, приготовленным к обратной дороге. Вопрос о возвращении закрылся сам собой.

Она поднялась, унесла полотенца на кухню и остановилась у плиты.

Духовка в этом доме имела ручку с делениями от единицы до девятки, и ни одна цифра не сообщала о градусах. В первую зиму Катя воевала с ней всерьёз: шесть – это сколько? восемь – это уже угли? Теперь она стояла перед ней и сомневалась, руки действовали самостоятельно и безошибочно.

– Ну хоть что-то в этом доме меня помнит, – сказала она вслух.

Вода наверху смолкла. Из тишины лестницы прозвучал вопрос:

– Мам, ты там с кем?

– С духовкой! – крикнула Катя. – У нас серьёзный разговор.

– Передай ей, что ванну я заняла раньше! – отозвалась Таня, и по ступеням снова прошлёпали пятки.

Катя усмехнулась, вернула ручку на ноль. Посмотрела на свои руки – короткие ногти, покрасневшая от холодной воды кожа. Всё честно.

Пустые чемоданы она задвинула под лестницу. Глубоко, к самой стене, чтобы не мешали. Дом признал в них хозяев. Пришлось согласиться: они вернулись, и это, кажется, навсегда. Теперь с этим нужно было как-то жить.

Глава 1. Это не ловушка

«Привилегия – это всегда ответственность в красивой упаковке» – Фридрих Ницше

Кафедра встретила их запахом, который за лето не изменился ни на йоту: мокрая шерсть и свежий кофе из автомата. Тая, войдя в старое крыло, поймала себя на том, что вдыхает этот аромат с удовольствием, как вдыхают запах любимой выпечки. Год назад коридор с истёртыми плитами считал её шаги, как считают шаги чужаков; теперь плиты под ногами молчали по-свойски, и даже портреты в тёмных рамах смотрели со стен без прежнего неодобрения – признавали за свою.

Изменилось и другое, менее очевидное: год назад она входила в этот коридор, стиснув кулаки в карманах, чтобы не задеть ладонью стену, а сегодня провела пальцами по камню между двумя рамами случайно, мимоходом, как проводят по перилам собственной лестницы. Камень отозвался вполголоса, ровным глубоким гулом, в котором больше не было ничего страшного. Она убрала руку только потому, что пора было садиться. Вот это и есть привычка, подумала Тая, и мысль оказалась не такой уютной, как обещала.

Автомат в конце коридора мигал лампочкой и не выдавал ничего, как и в июне. Таня постучала по нему костяшкой, уважительно, как стучат по барометру.

– Так и не починили за целое лето. Кафедра, изучающая запредельное, за три месяца не смогла победить кофейный автомат.

– Может, это эксперимент, – сказала Тая и отобрала у сестры монету, которую та уже нацелила в щель.

– Тогда я в контрольной группе. Мне не досталось кофе, я разочарована и требую сатисфакции.

Аудитория наполнялась звуками второго курса: стучали сиденья, шуршали куртки, кто-то рассказывал про лето сразу троим, и все трое слушали вполуха, готовя собственный рассказ. Тая заняла привычное место у стены, Таня села рядом, и они, не сговариваясь, оглядели зал, быстро и по-домашнему, пересчитывая своих однокурсников.

Однокурсников оказалось меньше.

Два места пустовали. Не так, как пустуют места опаздывающих, с брошенной курткой, с соседом, присматривающим за сумкой, а окончательно и бесповоротно, как места, которые оставили навсегда. В третьем ряду, у прохода, весь первый курс на этом месте сидел швед, конспектировавший так старательно, что ломал грифели: он подтачивал карандаш перочинным ножом прямо на лекции, стружка сыпалась ему на колени, и он потом виновато отряхивал её, будто это его личный недостаток. Правее и выше обычно сидела девушка из Манчестера, задававшая ровно один вопрос за лекцию, всегда по существу, сам вопрос обычно приходился на ту минуту, когда все уже теряли нить повествования, за что ей все были благодарны. Не вернулись после лета. Без объяснений, без прощальных писем, просто растворились, как последние теплые дни августа. Без предупреждения уступив место чужой, холодной осени.

– Ты знала? – тихо спросила Тая.

Таня покачала головой. Она смотрела на пустые места, чуть наклонив голову, как прислушиваются к комнате, из которой вынесли мебель, и Тая заметила, как сестра развела и снова свела ладони, будто проверяя, тёплые ли: этот жест означал, что сейчас она прислушивается не только ушами.

– Даже эха нет. Знаешь, как бывает: человек ушёл, а его место ещё неделю звучит, будто кто-то встал и вышел на минуту. А тут ровно, гладко, ни следа. Значит, решили давно, ещё весной. Просто досидели до звонка и ушли в собственную жизнь.

Со стороны всё ясно, подумала Тая. Это они и увидели.

– Как думаешь, им стало скучно или появилась причина уйти?

– Мне за них не думается, в ответ тишина. Возможно это хуже, – сказала Таня и потёрла висок, где начинало давить.

Тая посмотрела на пустое место в третьем ряду, потом на свою тетрадь с ещё не подписанной обложкой, и на секунду увидела эту аудиторию в следующем сентябре, откуда-то сверху и со стороны: два пустых места у стены, чья-то куртка, чей-то стаканчик, и кто-то новый оглядывает зал, а её и Тани в этой аудитории уже нет. Картинка пришла и ушла сама, без холода в пальцах, без стеклянного провала, обычная человеческая мысль. Тая сдвинула локоть на пару сантиметров, пока не коснулась локтя сестры, и держала так, пока не согрелось место соприкосновения.

Искал вошёл, положил портфель, оглядел аудиторию, и его взгляд задержался на пустых местах ровно на секунду дольше, чем на занятых. Он не сказал ничего: не отметил, не пошутил, не предложил вспомнить отсутствующих добрым словом. Секунда прошла, и он открыл лекцию так, словно зал был полон. Но Тая эту секунду заметила и поняла её без перевода. Кафедра не удерживала: здесь не клялись в верности, тихо входили и тихо уходили, а дверь, в которую они с Таней когда-то боялись войти, точно так же не запиралась и на выход. Честное место, подумала Тая. И от этой честности пустые места выглядели не потерей, а напоминанием: каждый сентябрь ты делаешь выбор заново, и никто не спросит, почему тебя здесь больше нет.

Вместо приветствия он сказал:

– Второй курс отличается от первого одним. В прошлом году я рассказывал вам, что думали другие. В этом году меня будет интересовать, что думаете вы. Это значительно менее комфортно. Начнём.

По залу прошло короткое движение, как проходит цепной импульс по вагонам, когда поезд трогается. Повинуясь этому общему толчку, Таня наклонилась к сестре и сказала уголком рта, глядя строго вперёд:

– Из всех известных мне способов сказать «расслабиться не удастся» этот самый вежливый, – шепнула Таня.

– Он ещё и честно предупредил, – отозвалась сестра, открывая чистую тетрадь.

– Вот это и обидно, – Таня едва заметно фыркнула и уткнулась в конспект.

* * *

Искал написал на доске одну строку, крупно, с нажимом, от которого крошился мел: «Как вверху, так и внизу; как внутри, так и снаружи». Потом отряхнул пальцы от мела и повернулся к залу.

– Второй принцип «Кибалиона», Закон Соответствия. У него репутация самой красивой фразы герметизма и самого затасканного эпитафия. Её пишут на открытках. Её произносят люди, которые не смогли бы объяснить её и под страхом смерти. Поэтому договоримся сразу: сегодня мы снимаем с этой формулы упаковку. О тайном догадывайтесь по явному. Другого не дано.

Говорил он медленно, подбирая слова так, как хирург подбирает инструмент – единственный нужный из целого лотка, и от этой медлительности лекция словно густела.

– Мир снаружи всегда зеркало того, что внутри. Это не метафора и не утешение. Это рабочий принцип – он безотказен, и в этом легко убедиться. К сожалению для скептиков и к ещё большему сожалению для энтузиастов, потому что и тем и другим он не льстит.

– Посмотрите на свои комнаты, – Искал сделал короткую паузу, и в тишине аудитории этот призыв прозвучал почти неприлично, словно он заставлял всех прилюдно вывернуть карманы. – На хаос на рабочих столах, на сломанные вещи, которые вы третий месяц обещаете себе выбросить или починить. На башни из немых чашек. Вы думаете, это просто лень или нехватка времени? Нет. Это топография вашего ума в данный конкретный момент. Внутрен-

ний раздрай, который не помещается в черепной коробке и выплескивается наружу, материализуясь в хлам.

Он повернулся к доске, но писать не стал, лишь коснулся пальцами меловой пыли.

– Или ваши затяжные, изнуряющие конфликты. Когда вам кажется, что мир состоит исключительно из дураков, хамов и предателей, которые сговорились усложнить вам жизнь. Закон Соответствия безжалостен: внешнее окружение лишь манифестирует вашу собственную глубинную агрессию или страх, который вы так тщательно прячете от самих себя. Вы транслируете в пространство напряжение – пространство возвращает вам удар. Вы не жертвы обстоятельств, вы их соавторы.

Искал прошёл вдоль доски, задев рукавом мел, но не заметил белой полосы, появившейся на его локте.

– Заметьте: закон не говорит о вине, он говорит о соответствии. Мир вокруг и мир внутри – это текст и рука, которая его написала. Изучая одно, вы неизбежно узнаете другое. Вопрос лишь в том, с какой стороны вам удобнее начинать чтение.

– Самая большая ошибка – думать, будто масштаб имеет значение, – Искал чуть наклонил голову, глядя куда-то поверх студенческих макушек. – Закон Соответствия стирает понятия «большого» и «малого». Пять тысяч лет, застывших в граните древнего мегалита где-нибудь на краю земли, и пятьдесят лет человеческой жизни внутри вашего сознания – это геометрически равные величины. Огромная цивилизация гибнет по тем же законам, по которым распадается личность одного-единственного человека. Внешний космос и внутренний хаос – два зеркала, поставленные друг напротив друга. Они бесконечно отражают одну и ту же пустоту или один и тот же свет, и вы никогда не определите, какое из них было первоисточником.

Кто-то на задних рядах хмыкнул, негромко, но достаточно, чтобы это все услышали. Искал не обернулся и продолжил.

– Скептическое хмыканье принято к сведению, более того, приветствуется. Но вынужден предупредить: этот закон особенно неприятен именно для скептиков. Он не требует веры. Он требует наблюдательности, а наблюдательность, в отличие от веры, проверяема, и оспорить результат гораздо труднее.

Таня рядом чуть повела плечом, Тая, не поворачивая головы, поняла почему: аудитория изменила свой звук. За год у сестры выработались для этого свои рабочие слова, вроде «сегодня гудят» и «сегодня плоско», и сейчас, судя по тому, как она положила обе ладони плашмя на тетрадь и потёрла переносицу, гудело. Тая знала эту последовательность наизусть: сначала ладони, потом переносица, потом Таня начинает дышать чуть глубже, чем обычно, делая вид, что просто устала. Она не глядя локтем подвинула сестре свою бутылку с водой, Таня, тоже не глядя, локоть перехватила и на секунду сжала.

Студенты записывали. Кто-то скептически поджимал губы, уже привычно, по-домашнему, как поджимают губы на шутки старого родственника. Тая слушала, положив руки на тетрадь, и испытывала странное ощущение, которого не было в прошлом году ни на одной лекции: ей не открывали новое, ей помогали вспомнить. Она знала это соответствие на ощупь. Знала по мартовской библиотеке, после которой мир три дня был серым изнутри, и чай тогда казался тёплой водой, и лица людей на улице все были похожи на одно лицо. Знала по Оркни, где камень показал ей: пять тысяч лет снаружи и вся её жизнь внутри, и оба масштаба отражались друг в друге, как два зеркала в парикмахерской.

Эти мысли отозвались под ложечкой странной пустотой – так ухает вниз сердце, когда лифт трогается слишком резко. Если закон работает в обе стороны, то он работает и в ту, о которой на лекции не сказали: значит, всё, что снаружи с ней происходило, было и её собственным делом тоже.

И серая мартовская неделя. И то, как тело реагировало на ложь: Тая вспомнила, как перед каждым сложным разговором с отчимом у неё каменели плечи и перехватывало горло,

будто физический зажим пытался удержать внутри слова, которые нельзя было произносить. Тело просто переводило её страх на понятный соматический язык, выстраивая внутреннюю баррикаду, которая со стороны выглядела как сутулость и вечная простуда.

И то, как в детстве от неё отсаживались за партой. Теперь она видела это иначе: не её отвергали – это она сама, сжавшись в комок, транслировала в класс такую ледяную, звенящую просьбу оставить её в покое, что другие дети просто подчинялись этому невидимому приказу. И то, что было до парты, до Москвы, до всего, о чём она не думала уже много лет и о чём помнила главным образом по запаху казённого мыла. Дверь туда приоткрылась сама, без спроса. Но Тая не дала ей распахнуться: аккуратно, почти вежливо придержала ладонью и записала на следующей строке новую фразу Искала. Ровным почерком, без единой пометки.

Они с Таней прожили в этом законе всю жизнь, как живут в доме, не зная его адреса. Теперь им называли адрес, отчего дом стал и понятнее, и холоднее одновременно.

Таня на полях тетради написала одно слово и подвинула к сестре. Слово было: «Нас узнаешь?». Тая посмотрела, взяла ручку и приписала снизу: «Теперь называем законом Соответствия». Таня прочла, кивнула, подумала и приписала третьей строчкой, мелко: «У него мел на локте». Тая не улыбнулась. Она посмотрела на белую полосу на рукаве лектора, потом на ровные строчки в собственной тетради. Мел на локте Искала был явным, случайным, приземленным – но он безупречно соответствовал той плотности и тяжести знаний, которые он только что выплеснул в зал.

Всё вставало на свои места с пугающей, математической точностью. Знать адрес своего дома – значило потерять право жаловаться на плохую погоду за его окнами. Если мир вокруг – это текст, написанный её собственной рукой, значит, у неё больше не осталось алиби. Некого было винить в серости марта и холоде детских воспоминаний.

Тая выдохнула чуть длиннее, чем нужно, накрыла ладонью написанное, будто закрывая тетрадь от постороннего взгляда. Ей казалось, что под её ладонью сейчас остывает горячая, живая ткань. До конца лекции обе сестры больше не отвлекались.

* * *



Когда прозвенел звонок и зал пришёл в движение, Искал сказал поверх шума, не повышая голоса:

– Мисс Голубева и мисс Голубева. Задержитесь на несколько минут, если располагаете временем.

Располагали. Аудитория вытекла в коридор, унося с собой шум, шарканье и обрывки чужих планов на обед, стало слышно, как за высокими окнами возится сентябрьский ветер, а в батарее что-то щёлкает и остывает. Тая осталась стоять у своего стола, в этой внезапной пустоте зал вдруг оказался очень большим, а её собственная сумка на плече очень тяжёлой. Она поймала себя на том, что перебирает в уме недавние промахи, как мелочь в кармане на ощупь: библиотека в марте, чужая брошь, слишком точный ответ на семинаре. Всё это было глупо, потому что вызывают не только за проступки, но инстинкты такими доводами не пользовались. Они привычно выдавали одно: тебя окликнули по фамилии, значит, что-то не так.

Искал не сел за стол и не пригласил их подойти к кафедре. Он отошёл к окну с видом на двор и встал там, глядя во двор, а когда заговорил, академическая дистанция исчезла из его голоса мгновенно и бесследно, как исчезает эхо, когда пустой зал заполняют мебелью.

– Я наблюдал за вами год, – сказал он. – Вы знали, для вас это не новость. Новость в том, что я намерен сделать из этих наблюдений практический вывод.

Он повернулся от окна и посмотрел на сестёр.

– Университет допускает параллельный исследовательский трек: магистерская программа поверх бакалавриата. Это редкая конструкция, громоздкая, и я не предлагаю её никому. За тридцать лет я предлагал её четыре раза. Сегодня пятый и шестой.

Тая почувствовала, как рядом замерла Таня – собранно, чтобы не пропустить ни слова. Сама она услышала своё сердце: оно ударило один раз в горле, потом ещё раз, после этого стало неприлично громким, будто кто-то поставил его на стол между ними. Семнадцать лет её учили не выделяться. Семнадцать лет главным достижением дня было то, что никто ничего не заметил. И вот стоял человек, который заметил всё, наблюдал целый год и сообщал об этом ровным голосом, каким сообщают расписание, и от этого у Таи одновременно горели уши и холодели кончики пальцев.

– Почему мы? – спросила она, и голос вышел немного охрипшим.

– Потому что вы не обычные студенты. Я вижу редкое сочетание: дар и зрелость одновременно.

Сказано это было без торжественности, тем же тоном, каким он называл даты и источники информации.

– Дар без зрелости есть фейерверк: ярко, коротко и небезопасно для окружающих. Зрелость без дара даёт хорошую академическую карьеру, у меня таких выпускников сотни, и я ими доволен. А такое сочетание – редкость. И означает оно, что вам можно давать настоящие задачи, не боясь, что эти задачи начнут диктовать вам свои условия или управлять вами.

Тая слушала и понимала: нужно молчать и держать лицо. Но держать его оказалось неожиданно трудно. Слово «дар» было произнесено вслух, в аудитории, при свете дня – буднично, без кавычек и оговорок. И от того, как легко оно прозвучало, у неё запершило в горле. За это слово всю её жизнь платили молчанием. Мама выучилась ставить чайник вместо ответа, отец записывал в тетрадь то, чего нельзя было сказать за столом, а они с Таней разработали целый язык, чтобы обходиться без него. А сейчас его просто бросили в воздух, как «расписание» или «семестр», и мир не треснул, окно не вылетело, портреты в коридоре не переглянулись. Тая опустила глаза на свои руки и увидела, что стоит, вцепившись в ремень сумки так, что побелели костяшки. Она медленно, один за другим, разжала пальцы.

Таня подала голос впервые в этом разговоре, и Тая по одной этой интонации поняла, что сестре тоже некуда спрятать своё волнение и переводит его в вопрос, как закипающий чайник – избыток пара в свист.

– Что это значит практически? Больше часов, больше практики, больше... чего?

– Больше глубины, – сказал Искал. – Своя исследовательская тема. Доступ к архиву кафедры, настоящему, не студенческому. Работа с материалом, который не входит в программу, потому что программу утверждает совет, а совет утверждает только то, что возможно объяснить.

Уголки его глаз дрогнули.

– Расписание, к слову, действительно станет плотнее. Ваша матушка спросит об этом первым делом, и будет права.

Таня моргнула, открыла рот, но промолчала и закрыла, посмотрела на сестру круглыми глазами, беззвучно, одними бровями спрашивая: он что, тоже? Искал уже снова смотрел в окно, где по двору тащился под зонтом кто-то из младших курсов, лицо у декана было непроницаемое, как у человека, который знает цену эффекту и не собирается портить его объяснением.

Таня не выдержала.

– Профессор, а вы её видели? Нашу мать?

– Нет, – сказал Искал, не оборачиваясь. – Но я тридцать лет разговариваю с родителями одарённых студентов, и все они задают вопросы в неизменном порядке. Отцы спрашивают, чего это будет стоить. Матери спрашивают, во сколько вы будете дома.

Пауза вышла ровно такой длины, какая нужна, чтобы сказанное улеглось.

– Вторые, как правило, оказываются полезнее, – Добавил Искал.

В отражении на стекле было видно, как уголки его глаз дрогнули второй раз, и это, судя по всему, было максимумом, который декан кафедры Кёстлера разрешал себе до обеда. Потом он обернулся к ним.

– Я не жду ответа сегодня. Такие решения не принимают в аудитории, их принимают за семейным ужином. Посоветуйтесь с родителями. Спросите меня о чём угодно, сейчас или позже, как вам будет угодно.

Сёстры переглянулись. Таня чуть наклонила голову к плечу – так она предлагала; Тая на это опустила веки, медленно, на полсекунды дольше моргания – так она соглашалась. Спрашивать сейчас рано, у них ещё не сформировался главный вопрос. Он появится вечером, дома, после ужина, обе это знали, и Искал, судя по его лицу, тоже знал.

Отец сказал бы: учёный – не тот, кто отвечает на все вопросы, подумала Тая. Дальше он бы не договорил, он никогда не договаривал, но дальше и не требовалось.

– Нам нужно время, – сказала Тая.

– Разумеется, – согласился Искал.

В этом коротком согласии слышалось удовлетворение человека, получившего правильный ответ на незаданный вопрос.

– И последнее. Что бы вы ни решили, ваше решение будет верным. Эта дверь из тех, что не закрываются с обратной стороны.

Они вышли в коридор, и Тая обнаружила, что идёт слишком быстро – так ходят, когда мышцам нужно израсходовать то, что не растратилось в разговоре. Только на лестнице, у окна, откуда сквозило, Таня сказала вполголоса:

– Заметила? Он ответил маме раньше, чем мы спросили. Про нагрузку.

– Он готовился к этому разговору. Дольше, чем мы думаем, – сказала Тая и добавила: – Или у него дома тоже есть Катя.

Таня подышала на ладони и потёрла их одну о другую.

– Тай, он сказал это вслух. Просто взял и сказал. Без заморочек.

– Знаю.

– И ничего не случилось, – словно подводя итог всему произошедшему, тихо произнесла Таня.

Она сказала это ровно, глядя на мокрый двор за стеклом, но голос у неё в середине фразы всё-таки поехал. Обе сделали вид, что не заметили. Тая молча взяла сестру под руку, и так, сцепившись, они спустились по холодной каменной лестнице, где пахло мастикой и дождём, а внизу мигал лампочкой неисправный кофейный автомат, который за лето так никто и не починил.

* * *

Дома предложение Искала легло на кухонный стол вместе с ужином. Обсуждали его по семейному регламенту: сначала еда, потом дела. Этот регламент никто не вводил и вслух не зачитывал, но он держался прочно, как держатся все привычки, выросшие из опыта. За время жизни вчетвером выяснилось: любой разговор, начатый на голодный желудок, кончается хуже, чем мог бы. Поэтому сначала были картошка, огурцы и сетования на то, что в Карри опять перекопали тротуар. А затем Катя отставила тарелку на середину стола. Это означало: время пришло, можно обсуждать.

Рассказывала Таня – в лицах и с интонациями Искала. Она передавала их так точно, что Тая пару раз испуганно оглянулась на дверь. Таня даже прошлась вдоль мойки, глядя в окно, как он – вдоль доски: заложила руки за спину и произнесла «за тридцать лет я предлагал её четыре раза» таким сухим шотландским баритоном, что Катя не удержалась и прыснула в полотенце. А отсмеявшись, вытерла им намокшие от смеха глаза.

– Не смешно. Продолжай.

Дима слушал из кресла, куда перебрался с чаем. На коленях у него покоилась газета, которую он не читал: раскрыл по привычке и забыл на первом же Танином слове. Так она и осталась лежать раскрытая и забытая, до самого конца рассказа. Чашку он поставил на подлокотник и больше к ней не притронулся, так что чай успел совсем остыть. Когда Таня закончила, он повторил:

– Четыре раза за тридцать лет. Он называл имена?

– Нет, – хором ответили сёстры.

– И вы не спросили?

– Мы решили, что это вопрос второй. Мы ещё первый не задали, – сказала Тая.

Дима отозвался не сразу, словно сверялся с какими-то своими внутренними расчётами.

– Пока человек борется с собой – его не возьмёшь, – произнёс он тоном диктора, сообщающего погоду.

Он свернул газету, положил её на подлокотник и некоторое время молчал, разглядывая собственные руки. Катя у разделочной доски резала овощи на завтра. Её нож стучал ровно, не сбиваясь: она слушала всем телом, но очередь была не её, и она это знала. Лишь однажды нож споткнулся на полтакта – когда Таня дошла до слова «дар» – и тут же возобновился, став как будто ещё ровнее.

Тая смотрела на отца и знала, что происходит: он не думал, он ждал. Она видела это тысячу раз, с детства, и всё равно каждый раз ей становилось не по себе от того, насколько это не похоже на обычное человеческое размышление. Люди, размышляя, шевелятся: трут лоб, переставляют предметы, начинают фразу и останавливаются. Дима сидел неподвижно и смотрел на свои руки, как смотрят в воду, дожидаясь, пока осядет муть, и в комнате от этого делалось тише.

– Это возможность, не ловушка, – сказал он наконец. – Разница чувствуется.

Он поднял глаза на дочерей.

– Ловушка льстит и торопит. Вас не торопят и, заметьте, не льстят: он назвал не просто суть, но и цену конструкции. «Громоздкая», сказал он. Человек, который продаёт, прячет недостатки товара. Человек, который предлагает – называет их сам.

Он помолчал, тронул остывшую чашку но пить не стал, а добавил, не повышая голоса:

– Спросите его, какую цену он видит сам. Не ту, что назначает университет – ведь расписание и экзамены это всего лишь арифметика. А именно его цену. Он тридцать лет смотрит, как одарённые люди уходят в глубину. И знает, что там дорого. Пусть скажет, чем придётся платить.

– Ты думаешь, там дорого? – спросила Таня.

– Я знаю, что там дорого.

Он закончил тем же ровным тоном, каким начал, и в кухне на секунду стало слышно, как из плохо закрытого крана капало в раковину. Тая посмотрела на отца иначе, чем смотрела минуту назад: в кресле напротив сидел человек, который всю жизнь прожил со знанием, о котором никому не мог сказать, платил за это ежедневно и ни разу не произнёс этого вслух. Он не сказал «мне было тяжело». Он сказал «я знаю, что там дорого», и в этой замене одного на другое было столько искренней отцовской любви, что у Таи зашипало под веками и она поспешно опустила глаза, пряча эту внезапную, обжигающую гордость за него.

Дима, поймав её взгляд, сделал ровно то, что делал всегда: слегка приподнял бровь и глазами показал на её тарелку, где остывала недоеденная картошка. Этого хватило, чтобы Тая выдохнула и взяла вилку.

Катя не отрывалась от нарезки, её нож продолжал стучать.

– А я добавлю приземлённого. Будет ли дополнительная нагрузка в часах? Потому что «глубина» – это красиво, но спать по шесть часов в вашем возрасте глупо. И я хочу знать, какая из двух формулировок правдивее.

Таня подняла палец.

– Он это предугадал. Слово в слово. Сказал: «Ваша матушка спросит об этом первым делом, и будет права».

Катя перестала резать, обернулась с ножом в руке и посмотрела сначала на дочерей, потом на мужа, и в лице у неё боролись два выражения, из которых победило то, что было смешнее.

– «Матушка», – повторила она. – Вот так, значит... Я, между прочим, ещё не старая матушка, у меня даже фартук молодёжный.

Она снова взялась за морковь, и нож застучал чуть быстрее, чем нужно.

– Ну хорошо. Хоть один человек в вашем университете понимает, кто в семье считает часы. Уже спокойнее.

– Он декан кафедры парапсихологии, мам.

– Тем более.

Катя смахнула нарезанное в кастрюлю, накрыла крышкой и повернулась, вытирая руки о фартук.

– В этом доме, если хочешь, чтобы тебя услышали, надо угадывать мысли. Я к этому привыкла раньше вашего декана.

Дима в кресле хмыкнул, один раз, коротко и очень выразительно, но так и не поднял глаз от своих рук.

– Вот и вся повестка, – сказала Таня сестре вполголоса. – Папа про суть, мама про быт. Между ними всё и помещается.

Тая кивнула и, глядя на родителей, на отца со свёрнутой газетой и на мать с полотенцем через плечо, подумала, что семейный совет в этом доме устроен лучше любого учёного совета: за двадцать минут повестка исчерпана, роли распределены, лишнего не сказано. И одновременно, вторым слоем, тише, подумала другое: сколько ещё таких советов будет. Три года? Пять? Потом магистратура кончится, кончится и следующее, и однажды они с Таней будут решать нечто похожее в другой кухне, без отца в кресле и без матери с ножом, стучащим в такт. Она не стала эту мысль развивать и додумывать, но чётко запомнила, как выглядит кухня в этот вечер: жёлтая лампа, пар из-под крышки, выцветший стикер на подоконнике, у которого совсем загнулся угол.

Катя сняла с плеча полотенце и повесила его сушиться.

– А вы сами-то чего хотите? А то мы всё про Искала и про часы.

Сёстры переглянулись, на это им хватило меньше секунды, потому что ответ был готов у обеих ещё в аудитории и весь вечер ждал, когда его наконец спросят.

– Хотим, – сказала Таня. – Обе. Это даже обсуждать не пришлось.

– Ну и славно, – сказала Катя. – Терпеть не могу, когда вы делаете вид что советуетесь, когда решение уже принято.

Она достала чайник, глянула на воду, долила ещё, хотя воды хватало, и щёлкнула кнопкой.

– Чай будете?

Никто не ответил, потому что вопрос был не о чае, и все четверо это знали. Чайник загудел, набирая звук, и Тая заметила, как мама, стоя к ним спиной, у окна с двумя отражениями

в тёмном стекле, на секунду опустила плечи: так опускают их, когда наконец можно расслабиться.

Потом Катя обернулась, уже с обычным лицом, и спросила совершенно будничным голосом:

– А обедать вы там когда будете?

– Мам...

– Нет, не мам. Глубина глубиной, а с двенадцати до двух у человека должен быть полноценный обед.

Она достала четыре кружки, хотя чай никто не попросил, и расставила их в ряд.

– Я не спору с вашим деканом. Я просто хочу, чтобы в этом доме кто-то отвечал за нижний этаж.

Тая посмотрела на мать и вдруг увидела её так, как впервые видят человека со стороны: невысокая женщина в фартуке стоит на кухне в чужой стране и держит своими руками весь нижний этаж их семейного мира, потому что верхний ей не подчиняется и никогда не подчинялся. Ни на Оркни она с ними не была, ни в мартовской библиотеке; ей рассказывали потом, дозированно, за ужином, а она слушала, кивала и ни одного единого раза не сказала: возьмите меня с собой. Только спрашивала про часы и про суп. И вот теперь дочерям предлагали подняться ещё выше, туда, куда ей хода нет, и она отвечала на это единственным, чем могла: обедом с двенадцати до двух.

– Мам, – сказала Тая. – Мы будем обедать.

– Вот и договорились, – сказала Катя. Она разлила чай, и по кухне сразу разнёсся густой, тёплый аромат.

Она не поворачивалась, но Тая, глядя на её отражение в тёмном оконном стекле, чувствовала: мать всё поняла. Не только то, что прозвучало вслух, но и многое из того, что осталось недосказанным.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.